



# Толпа публичности

Джоди Дин

*Колледжи Хобарта и Уильяма Смиттов, Женева, штат Нью-Йорк*

## Толпа и публика

### Аннотация

Последнее десятилетие протестов продемонстрировало подрывную силу толпы. Когда где-то собирается толпа, не поддерживаемая ни государством, ни капиталом, она создает момент политической непредсказуемости, возможность для политической субъективации. В отличие от фикции публичной сферы, которая подменяет фантазией о едином поле делиберативных процессов актуальность пристрастной борьбы, толпа выражает парадоксальную власть народа как политического субъекта. Она высвечивает атрибуты, отличающие контингентное, гетерогенное единство коллективов, атрибуты, которые упускаются в ошибочных описаниях политического поля, состоящего из индивидов и функционирующего посредством процедур демократической делиберации. Политика толпы манифестирует себя не как деятельность делиберации, выбора и решения, но как разрывы и зазоры, в непредсказуемости захватывающего дела; она связана с коллективной храбростью, направленной интенсивностью и способностью сплочения. Однако это не означает, что толпа *есть* политический субъект. Толпа — это Реальное, провоцирующее политический субъект. Это необходимый, но неполный компонент политической субъективности, подрывная мощь осознающего себя количества, чувствующего свою собственную силу.

**Ключевые слова**

аффект, Бадью, борьба, Канетти, Лебон, публика, субъективация, толпа

Начиная с 2011 г. важнейшим социальным актором во всем мире является толпа. Наиболее насущным политическим вызовом была борьба за толпу, вокруг толпы и посредством нее. Субъектом какой политики является толпа?

Гонконг, Фергюсон, Гези, Таиланд, Украина, Тунис, площадь Тахрир, Греция, Испания, Чили, Бразилия, Мэдисон, Монреаль, Оуклэнд, парк Зуккотти — названия этих мест стали маркерами политической интенсивности в новом цикле борьбы. Они могут — по отдельности или вместе, под общим именем — стать знаками события. Но станут ли они таковыми, подобно Парижской коммуне или 1968 г., будет зависеть от иницилируемой толпой политики: определит ли эта политика ретроактивно некоторые или все из этих топонимов как шаги вперед в революционном процессе народа в качестве коллективного политического субъекта?

В настоящем эссе я исследую конфликтную политику осуществляемого толпой политического подрыва демократической политики, ограниченной публичной сферой. С 2011 г. толпа вводит зазор внутри политического порядка капитала и государства. Порывая с удушающей рефлексивностью участия и критики опосредованных сетей коммуникативного капитализма, настойчивые толпы возникают там, где им нет места, и само их присутствие бросает вызов приватизации мест, по определению являющихся публичными.<sup>1</sup> Протесты, происходящие в разных городах и странах, теперь предстают как единая борьба. Мы видим связь между парком Гези, Монреалем и площадью Тахрир. Взамен отдельных, не связанных между собой выступлений множества сингулярностей давление толпы в одном месте за другим обнаруживает движение народа, и ставит вопросы о подобии, смысле и союзе. На чьей мы стороне?

Из-за нестабильности значения в условиях коммуникативного капитализма — того, что Славой Жижек называет «упадком символической действительности», — текущие политические противостояния используют для представления себя не столько пустые означающие, такие как *свобода* и *справедливость*, сколько обыденные образы и имена; последние оказываются тем более распространенными, чем более родовыми: зонтик, палатка, маска, Оссиру (см. Жижек 2014:

<sup>1</sup> Обсуждение коммуникативного капитализма см. в (Dean 2009; 2010a).

429–445). Общие образы и обыденные имена (их предшественниками в начале 2000-х гг. были «цветные революции») не обозначают ни идентичности, ни цели. Они указывают на тактики, которые может использовать кто угодно. То, что их может использовать кто угодно, значит, что намерения, с которыми они используются, могут оставаться косвенными или даже противостоять намерениям других, ведущих борьбу под тем же именем. Однако до тех пор пока эти тактики-имена используются в борьбе, они означают отрицание, противостояние, хотя предмет отрицания или противостояния и остается неопределенным, невысказанным. Обыденное имя и образ могут стимулировать, поддерживать и расширять политику, давая термин, посредством которых некая политика может сохранять отчетливость после своего появления. Обыкновенное имя и безобидный образ могут стать маркером дыры в господствующем порядке, зазора, который является местом открытой продолжающейся борьбы. Поскольку имя и образ предшествуют идеологии, борьба за смысл знака является частью более широкой политической борьбы. Стоит обратить внимание на то, как, несмотря на многократно повторенное утверждение, что «сутью» Оссуру была демократия, это имя сейчас (верно) ассоциируется с антикапитализмом. Подобным образом компонентом политического движения *Oscura Central* в Гонконге была дискуссия о том, был ли он, по существу, против капитализма или за парламентскую демократию.

Когда где-то появляется толпа, не поддерживаемая ни государством, ни капиталом, создается политическая непредсказуемость, возможность для политической субъективации. В отличие от фикции публичной сферы, этой призрачной публики, произведенной идеологией публичности, которая подменяет фантазией о едином поле делиберативных процессов актуальность пристрастной борьбы, толпа выражает парадоксальную власть народа как политического субъекта (здесь я имею в виду народ как разъединяющую силу, народ против правящего класса или одного процента, народ как *остальные из нас*).<sup>2</sup> Толпа неожиданно стремится вперед — и рассеивается. Мы чувствуем силу многих, хотя, как мы знаем, это и не все — всегда есть больше. Настойчивая и непроницаемая, толпа высвечивает атрибуты, отличающие контингентное, гетерогенное единство коллективов, атрибуты, которые упускаются в ошибочных описаниях политического поля как состоящего из индивидов и функционирующего посредством процедур демократической делиберации. Политика толпы манифестирует себя не как деятельность делиберации, выбора и решения, но как разрывы и зазоры в непредсказуемости

---

<sup>2</sup> Критику понятия публичной сферы см. в (Dean 2002), дискуссию о народе как остальных из нас см. в (Dean 2012).

захватывающего дела, и она связана с коллективной храбростью, направленной интенсивностью и способностью сплочения.

Однако это не означает, что толпа *есть* политический субъект. Толпа — это Реальное, провоцирующее политический субъект. Это необходимый, но неполный компонент политической субъективности, подрывная мощь/власть осознающего себя количества, чувствующего свою собственную силу.

## Аффективная интенсивность временного сущего

Наиболее влиятельным из ранних теоретиков толпы был Густав Лебон. Его многократно переизданная и переведенная книга «Психология народов и масс» заложила основу для теоретизирования о толпе в XX в. Бенито Муссолини находил Лебона вдохновляющим, в особенности его обсуждение вожака (Falasca-Zamponi 1997: 21). Такие комментаторы, как Зигмунд Фрейд, также внесли свой вклад в рецепцию Лебона, подчеркивающую роль вожака (Фрейд 2008).<sup>3</sup> Но Лебон не говорит о вожаках до второй половины своей книги. Когда же он обращается к этой теме, то описывает вожака как ядро воли, вокруг которого формируется толпа, как то, что на языке Лакана можно назвать объектом-причиной желания толпы. Толпа не желает вожака. Вожак вызывает и направляет желание толпы. Вожак — это подстрекатель, агитатор, чья энергичность вдохновляет толпу и собирает на себе ее внимание. И хотя Лебон соглашается с тем, что в истории бывают выдающиеся вожди, он сосредотачивается на том факте, что вождя вначале сам выступает в качестве ведомого, загипнотизированного идеей, подобно тому как Максимилиан Робеспьер был зачарован Жан-Жаком Руссо. Идея овладевает вожаком настолько, что он уже не видит больше ничего, что объясняет, почему вожаками толп оказываются «психически неуравновешенные люди, полупомешанные, находящиеся на границе безумия» (Лебон 2016: 180). Вожак концентрирует и транслирует идею, превращая ее в причину действия. Лебон даже рассматривает возможность того, что замещать вожака могут массовые периодические издания, так как они тоже способны упрощать, концентрировать и передавать идеи.

Акцент на фигуре вожака отвлекает нас от наиболее оригинального аспекта лебоновского понятия толпы, а именно его интерпретации толпы как «временного организма, образовавшегося из разнородных элементов» (Лебон 2016: 122). Лебон представляет толпу как особую форму коллективности. Толпа — это не сообщество. Она не основана на традициях. У нее нет истории. Толпа не удерживается вместе ни неформальными нормами, ни непристойным избытком,

<sup>3</sup> Критику фрейдовского прочтения Лебона см. в (Dean 2016).

выходящим за пределы ее собственной непосредственности (хотя образы и символы толпы несомненно дают форму рецепции и циркуляции событий толпы).<sup>4</sup> Толпа — это временное коллективное существование. Она удерживается вместе аффективно, посредством имитации, заражения, сгущения и чувства собственной непобедимости. Поскольку толпа есть коллективное существо, она не может быть редуцирована к единичностям. Напротив, принципиальное свойство толпы в том, что она сама по себе является некой силой, подобно организму. Толпа — это нечто большее, чем совокупность индивидов. Это индивиды, измененные своим собиранием, сила, которой их собирание воздействует на них самих, чтобы они вместе могли делать то, что невозможно делать в одиночку.

Интересующие Лебона феномены толпы определяют новую политическую эпоху массовой политической вовлеченности. Чего именно желает народ — не так важно, важен сам факт его желания. Желание толпы проявляется как отрицающая концентрация, как позитивность отрицания границ и разделений, упорядочивающих социальное бытие, как пульсация желания народа — хотя предмет этого желания и остается невысказанным, бессознательным. Для Лебона политическое бессознательное — это толпа разнообразных и неопределенных других, к которым мы принадлежим, и сил, которые происходят из этой принадлежности. Его толпы насыщены воплощенной страстью, которую теория публичной сферы устраняет, пытаясь, однако, время от времени вдохнуть ее в свои версии коллективности.

## Коллективное наслаждение

Начиная с XIX в. и вплоть до сегодняшнего дня наблюдатели и комментаторы реагируют на большие политические сборища со смесью беспокойства и энтузиазма. Когда подрывается социальный порядок, случиться может что угодно. Образцом здесь является анализ толпы времен Французской революции у Ипполита Тэна. Это описание, сделанное после событий Парижской коммуны 1871 г., повлияло на Лебона. Оно продолжает служить прототипом изображения толпы; мы слышим его эхо в современных репортажах о толпе.

Тэн описывает возбужденный жужжащий рой. «Голодные, разбойники и патриоты составляют одно целое и отныне нищета, порок и общественное мнение соединяются, чтобы составить всегда готовую на мятеж группу, которая по знаку агитаторов бросится туда, куда они ее направят» (Тэн 1907: 26). У толпы Тэна нет политики. Она

---

<sup>4</sup> Кристиан Борч предлагает историю социологии, структурированную как историю семантики толпы, т. е. анализ толпы как теоретического понятия в социологии (см. Borch 2012).

представляет собой возможность для политики. Нужда, насилие и чувство справедливости подкрепляют друг друга. Толпа манифестирует желание народа, но не говорит, чего именно народ хочет, вместо этого показывая, что народ никогда не хочет чего-то одного, его желание всегда направлено не на одно и не на что-то, и пока оно не сойдет на нет, удовлетворить его невозможно. Тэн предвещает интернет-коммуникацию XXI в.:

Среди этой смеси импровизированных политиков никто не знает того, кто говорит, никто не сознает себя ответственным за то, что говорит. Здесь совсем как в театре — незнакомый среди таких же незнакомцев, всякий ищет только сильных ощущений. Насыщенная страстями атмосфера заражает его; им овладевает вихрь громких слов, вымышленных известий, неистового шума и всевозможных эксцентричностей, в которых один старается перещеголять другого (Тэн 1907: 27).

В этом восстании толпы нет ни ясного или единичного требования, ни лица, наделенного определенной ответственностью. Здесь царят слухи без знания и риторика без оснований. Люди в толпе говорят, и их коллективное желание превосходит то, что высказываетс индивидуально.

В современных Соединенных Штатах, может показаться, люди больше всего жаждут дешевых потребительских товаров. Превалирующей у нас образ толпы — это покупатели, рвущиеся через двери “Walmart” в «черную пятницу». Вездесущие экраны показывают беспорядочные орды, сплывающиеся перед закрытыми дверями супермаркетов, концентрируя индивидуальные желания, так что личные жажды вещей складываются в коллективную волю брать, которая вот-вот перельется через край и отвергнет нормы цены и собственности. Посредством этих образов толпы капитализм форматирует наше видение так, чтобы в нем были только потребители и товары: потребители, переплавленные в единую массу за счет стирания социального пространства, и товары, настолько желанные, что они способны осуществить это стирание. Покупатели в «черную пятницу» знают свою роль. СМИ десятилетиями работали над тем, чтобы сделать ее вполне понятной, интервьюируя охотников за распродажами, говорящими холодно, решительно и долго в своей возбужденности давлением тел на стекло, отчаянно готовых пинать, драться и хватать в этой сцене шопинга, представляемого как захват добычи. Форма действия толпы, которую ожидает капитал в этих спектаклях потребления, — ожидание, натиск, гонка — твердо установлена.

Британия конца XX в. предлагала особый опыт толпы тем, кто смотрел футбол, стоя на трибунах стадионов. Так описывает это Билл Бьюфорд:

Физические ощущения были постоянны; от них нельзя было скрыться — если ты буквально не скрывался, уйдя. Можно было почувствовать, и нельзя было не почувствовать, каждый важный момент игры — через толпу. Удар по воротам был осязаемым опытом. При каждой попытке можно было услышать, как толпа набирает воздух, чтобы потом, после очередного стремительного сэйва столь же преувеличенно выдохнуть. И каждый раз люди вокруг меня росли, так как надувались их грудные клетки, и мы оказывались теснее прижаты друг к другу. Они были напряжены: это можно было увидеть по мускулам на их руках и их телам, или они могли вытягивать шеи, пытаясь разглядеть в странном электрическом свете, который не оставлял теней, приведет ли этот удар к голу. Предвкушение толпы можно было почувствовать всем своим телом — как набор ощущений (Buford 1993: 166).<sup>5</sup>

Бьюфорд пытается понять насилие английских футбольных фанатов, не только насилие драк (нанесение ударов, в том числе и холодным оружием) и нанесение ущерба собственности (разбивание, сжигание, бросание), но также и насилие толкотни, натиска, давки и удушья. Насилие толпы — это в большей мере продукт дизайнера, архитектуры, схем продажи билетов и передвижения, чем стихийное выражение злости.

Толпа образуется в некоем пространстве. Концентрация ее интенсивности зависит от границ того, что ее окружает. С одной стороны, границы обозначают разрешающее «толпа может быть здесь, но не там» (Buford 1993: 190). Они устанавливают разделения, которые задают внешнюю форму толпы. С другой стороны, эти же самые границы провоцируют к трансгрессии, направляя внимание толпы. Они представляют собой те пределы, переход которых позволяет толпе чувствовать свою силу и обновлять свою претензию на власть. Бьюфорд обращает внимание на это чувство толпы, этот воодушевляющий момент, когда чувство индивидуальности стирается по мере того, как все опосредования социального обмена, поддерживающие нашу отделенность, уступают место «торжественной власти (*authority*) внезапно оказаться в толпе» (Buford 1993: 194). Заряд, атмосфера, давление, ожидание, возбуждение — аффективная чувственность коллективного становится желанной сама по себе, разделенное чувство мощи (*power*) количества. Это чувство позволяет нам говорить о толпе как о позитивности отрицания, позитивном выражении отрицания индивидуальности, позитивности разделенности, границ и предела. Можно сказать, что толпа — это публика, наслаждающаяся коллективностью, вместо того чтобы заключать ее в опосредован-

---

<sup>5</sup> Я благодарен Джо Минку за эту книгу.

ную сферу, в которой индивиды фантазируют о том, чтобы быть услышанными.

## Разрядка

Бьюфордовское описание жестокой толпы на примере английских футбольных фанатов повторяет основные моменты классического труда Элиаса Канетти «Масса и власть» (Канетти 2012). Канетти ассоциирует толпу с изначальным страхом, боязнью прикосновения, в особенности прикосновения странного или неизвестного. Только в толпе (чем плотнее, тем лучше) этот страх пропадает. «Кто отдал себя на волю массы, не боится ее прикосновений, — пишет Канетти. — Все вдруг оказывается происходящим как будто бы внутри одного тела. Вероятно, этим объясняется, почему масса всегда старается стать как можно плотнее: она хочет максимально подавить свойственный индивидууму страх перед прикосновением» (Канетти 2012: 24). Нормы дистанции растворяются. Конвенциональные иерархии коллапсируют. На месте различий, с помощью которых конституируется индивид, оказывается временное бытие множества ртов, анусов, желудков, рук и ног, бытие, состоящее из накладывающихся друг на друга складок соприкасающейся кожи.

Канетти описывает момент возникновения толпы как «разрядку». «Это момент, когда все, кто принадлежит к массе, освобождаются от различий и чувствуют себя равными» (Канетти 2012: 27). До этого момента мы, возможно, имеем дело с большим количеством людей, но они еще не та концентрация тел и аффектов, которая суть толпа. Однако плотность, по мере своего возрастания, начинает производить либидинальные эффекты: «В тесноте, где ничто не разделяет, где тело прижато к телу, каждый близок другому как самому себе. Это миг облегчения. Ради этого мига счастья, когда каждый не больше и не лучше, чем другой, люди соединяются в массу» (Канетти 2012: 28). Канетти представляет нам толпу как странный аттрактор *jouissance*, как фигуру коллективного наслаждения.<sup>6</sup> Либидинальная энергия толпы связывает ее вместе во имя радостного момента — момента, который Канетти описывает как чувство равенства и о котором мы также можем говорить как о разделяемой интенсивности принадлежности. Чувство недолговечно; неравенство вернется, когда толпа рассеется. Немногие отказываются от своих владений и связей, отделяющих их от других (те же, кто делает это, образуют то, что Канетти именует «кристаллами масс»). Но в оргазмической разрядке «состояние абсолютного равенства» вытесняет индивидуализирующие различия (Канетти 2012: 42).

<sup>6</sup> Я обсуждаю странные аттракторы в (Dean 2009).



Равенство толпы, о котором говорит Канетти, не имеет ничего общего с *буржуазным равенством*, которое Маркс разоблачает в «Критике Готской программы» (Маркс 1961). Это не формальное равенство общего стандарта, применяемого к разным людям, предметам или трудовым издержкам. Представляемое здесь Канетти равенство таково, что «голова — это голова и не более того, рука — это рука и не более того; то, что головы и руки могут быть разными, никого не интересует» (Канетти 2012: 42). Интенсивная принадлежность сопровождается деиндивидуализацией. В точности как Маркс, который замечает в скобках, что неравные индивиды «не были бы различными индивидами, если бы не были неравными» (Маркс 1961: 19), Канетти ассоциирует неравенство с дифференциацией, с переливанием жидкой, подвижной субстанции коллективности в форму различных индивидов. Этот опыт равенства в толпе, как он утверждает, вдохновляет всякое требование справедливости. Равенство как принадлежность — а не разделение, уравнивание и мера — есть то, что дает «энергию» (термин Канетти) жажде справедливости.

Слишком многие, как утверждает Канетти, осуждают толпу за ее разрушительность, не пытаясь разобраться в причинах последней. Он связывает разрушительность с разрядкой, словно толпа восклицает в экстазе: «Звуки погрома [...] важны с точки зрения восторга, порождаемого разрушением» (Канетти 2012: 29). Звук бьющегося стекла усиливает ликование толпы и в то же время продлевает ее наслаждение, обещая постоянный рост и движение: «Грохот — это аплодисменты вещей» (Канетти 2012: 29). Особое удовольствие доставляет разрушение границ. Нет ничего запредельного, потому что пределов нет. Окна и двери, превращающие дома в обособленные пространства, места, где индивиды отделены от толпы, разбиваются и ломаются. «Каждый ощущает, что, примкнув к массе, он преступил границы собственной личности, ликвидировал все дистанции, которые отбрасывали его назад — к себе самому, запирали его в себе. Сбросив груз дистанций, человек освобождается, и эта обретенная свобода есть свобода переступания границ» (Канетти 2012: 30).

Толпа Канетти желает. Она хочет расти, увеличиваться и расширяться. Она будет существовать до тех пор, пока она движется к цели. Вдобавок к равенству и плотности Канетти также атрибутирует толпе черты, намекающие на то, что в психоанализе понимается как наслаждение — рост и направление. Потребность в росте — это стремление быть больше, устранять преграды, универсализировать и расширять чувство толпы до тех пор, пока не останется ничего вне его. Направление интенсифицирует равенство, давая общую цель. Цель должна оставаться недостигнутой, чтобы толпа продолжала существовать. Говоря на языке Лакана, желание есть желание желания.

## Народ или сброд (*mob*)

Некоторые современные авторы пытаются связать толпу с демократией. Они видят в том, как собираются тысячи, демократическую настойчивость, требование быть выслушанными и реализацию права на собрание. Но в контексте коммуникативного капитализма толпа выходит за рамки демократии. Коммуникативный капитализм перестраивает отношения между толпой, демократией, капитализмом и классами. С одной стороны, демократическое понимание толпы не позволяет увидеть эти изменения. Оно ставит толпу на службу той самой ситуации, которую толпа подрывает. С другой стороны, демократическое прочтение инициирует борьбу за субъект политики: спор о том, является ли толпа народом или сбродом.<sup>7</sup>

В XIX и XX вв. толпа ставила вопросы о власти и порядке. «Никакой другой предмет, — пишет Вальтер Беньямин, — не представлял литераторам девятнадцатого столетия таких притязаний, как толпа» (Беньямин 2015: 131). В это время толпа предстает квинтэссенцией политического выражения народа.<sup>8</sup> Неотделимая от подъема массовой демократии, толпа маячит угрозой коллективной мощи масс, силы многих, направленной против тех, кто эксплуатирует, контролирует и рассеивает их. Вызывая как страх, так и энтузиазм, наводнение или вторжение, толпа внедряет множественные коллективы в историю.

Комментаторы, которые, подобно Лебону, хотят поставить народ на место, предостерегают о «разнузданном бунте масс» (Ортега-и-Гассет 2016: 207). Они изображают толпу как жестокий, примитивный, даже преступный сброд. Напротив, комментаторы, желающие свержения элит, превозносят политическую живость толпы. Рабочие, крестьяне и самый разный простой народ осознают и утверждают себя как суверена. Маркс описывает толпы Парижской коммуны как народ, готовый «штурмовать небо» (письмо Людвигу Кугельману от 12 апреля 1871 г. (Маркс и Энгельс 1964: 172)). Таким образом, для авторов XIX и XX вв. толпы и народная демократия переплетены. Вопрос только в том, является ли суверенитет народа чем-то отличным от власти сброда.

Полезно от демократической интерпретации толпы состоит в открытии дилеммы: сброд или народ. Толпа делает возможным вторжение народа в политику. Но является ли народ субъектом события

<sup>7</sup> Детальное обсуждение фигуры толпы см. также в (Mazzarella 2010).

<sup>8</sup> Но не только в XIX и XX вв. Существует захватывающая историческая литература о доиндустриальных и революционных толпах, лучшие образчики которой созданы группой британских историков-марксистов. См., напр.: (Rudé 1995; Hobsbawm 1959), а также недавнее обращение к постреволюционной толпе в США (Frank 2010).

толпы — спорный вопрос. Толпа провоцирует борьбу за то, кто является ее субъектом. Толпа могла быть сбродом, а вовсе не событием. Она могла быть предсказуемым легитимным собранием, т. е. опять же не событием, а аффирмацией ситуации. Но она могла быть и восстанием народа, ищущего справедливости.<sup>9</sup> Событие толпы является или будет эффектом политического процесса, который активируется событием толпы. У толпы нет политики. Толпа — это возможность для политики. Ответ на вопрос о том, была ли толпа сбродом или народом, — результат политической борьбы.

Удерживаясь на некоторое время от классифицирования толп с точки зрения пред-данного политического содержания, мы можем рассмотреть толпы с точки зрения их динамики. Толпы — это не просто большие количества людей, сконцентрированные в том или ином месте. Они представляют собой эффекты коллективности, влияние — будь то сознательное, коллективное или бессознательное — других (см. Brennan 2004). Современная социальная наука анализирует эти эффекты с помощью таких образных терминов, как *повозка с оркестром* (*band-wagoning*), *пузырь*, и *информационный каскад*. Мэйнстримный комментарий продолжает прибегать к терминам более ранней теории толпы: *имитация*, *сгущение*, *заражение*.

Ассоциирование толпы с демократией было сильным ходом в XIX и XX вв. «Демократия» могла служить для именованной оппозиции. Даже когда коммунисты говорили о пределах демократии как инструмента, используемого правящим классом, демократия все еще могла послужить указанием на вызов существующим структурам власти. Но в XXI в. господствующие национальные государства осуществляют свою власть как демократии. Они бомбят и вводят войска как демократии и во имя демократии. Международные политические организации легитимируют себя в качестве демократических, равно как и противоречивые и запутанные практики СМИ коммуникативного капитализма. Когда толпы выходят протестовать, они противопоставляют себя демократическим практикам, системам и организациям. Ассоциирование толпы с демократией упускает это изменение в политической ситуации толпы.

Демократические правительства легитимируют себя, утверждая, что они — правление народа. Когда толпы собираются, чтобы протестовать, они обнажают пределы этой легитимации. Воля большинства, выраженная на выборах, прекращает представляться волей народа. То, что не весь народ поддерживает данное правительство или определенные решения, становится очевидным и физически ощутимым.<sup>10</sup> Несогласие и критика начинают быть чем-то большим,

<sup>9</sup> Как я объясняю в (Dean 2012), это конфликтное видение народа как нас, остальных.

<sup>10</sup> В своем анализе идеи и образа толпы в Европе конца XIX — начала XX в.

чем ресурсами, циркулирующими в производстве негодования и желчи, в которых мы топим друг друга, делясь ссылками в социальных сетях. Они указывают на коллективную мощь (*power*), аффективную продуктивность, которая превосходит индивидуальные мнения. Многие дают в ответ с помощью силы воплощенного количества, открывая зазор в господствующем порядке. Они делают явными его пристрастность, компромиссы и скрытые усилия по поддержке процессов, посредством которых класс капиталистов накапливает богатство. Они обнажают хрупкость разделений и рамок, на которых держится электоральная политика. Толпа претендует на возвращение народу прав на то политическое поле, которое демократия пытается фрагментировать и контролировать.

В условиях коммуникативного капитализма демократическая претензия на толпу поддерживает гегемонию идеалов децентрализации и самоорганизации и в свою очередь поддерживается ею. Ранние теоретики толпы описывают толпу как примитивную, жестокую и поддающуюся влиянию. В нашем современном контексте эти описания часто инвертируются, превращаясь в образы «умных толп» и «мудрости толп».<sup>11</sup> Такие инверсии апроприируют толпу, вербуя ее для поддержки капитализма за счет лишения радикального политического потенциала.

Бизнес-ориентированные авторы, такие как Джеймс Шуровьески, говорят о толпе в терминах коллективного интеллекта. Основной интерес Шуровьески состоит в том, как можно приручить и использовать этот интеллект, который он понимает как информацию, собирающуюся из различных и независимых источников. Его тезис в том, что толпа людей, преследующих свои собственные интересы, занимаясь одной и той же проблемой по отдельности, децентрализованно, придет к наилучшему решению. Ключом является когнитивное многообразие, необходимое для того, чтобы избежать имитации и группового мышления (другими словами, необходимое для блокирования аффективного связывания временного коллективного сущего). Образцовые толпы для Шуровьески — это корпорации, рынки и службы разведки. Их мудрость зависит от таких механизмов, как цены и системы, которые способны «вращивать множество неудачников, распознавать их и производить отсев» (Шуровьески 2007: 44–45). В действительности, толпы Шуровьески — это не столько толпы, сколько базы данных. Он может считать толпу мудрой, так как он редуцировал ее до информации, рассеял ее на индивидуальные головы

---

Стефан Йонссон представляет массу как эффект репрезентации, он ставит проблему репрезентации «социально значимых страстей» и структурирования социального поля как дистинкции между представителями и представляемыми (Jonsson 2013: 26).

<sup>11</sup> См. (Рейнгольд 2006; Шуровьески 2007).

и пересобрал ее так, чтобы можно было использовать многих для выгоды немногих. Объединение, признает Шуровьески, является парадоксальным партнером децентрализации.

Юджин Холланд заимствует тезис Шуровьески о мудрости толпы в своей попытке вообразить рыночный (*free-market*) коммунизм (Holland 2011). Холланд хочет продемонстрировать правдоподобность горизонтальной, восходящей, децентрализованной и самоорганизующейся социальной организации. Джаз, футбол, интернет и рынки показывают, согласно Холланду, как участники коллектива приспосабливаются друг к другу в отсутствие нисходящей координации. Эти примеры ограничены как социальные модели. Играя, музыканты и футболисты знают и принимают, что они участвуют в общем деле.<sup>12</sup> Исполнение и правила необходимым образом ограничивают, кто и сколько людей может играть. Джаз и футбол несопоставимы по масштабу. Также, и это более существенно, Холланд игнорирует неизбежное производство неравенства в интернете и на рынке. Старательно избегая всего, у чего есть привкус государственной власти, он пренебрегает разделением одного и многих, возникающим имманентно в таких случаях. Самоорганизация в сложных сетях не гарантирует горизонтальности. На самом деле, она производит иерархию.

Наиболее ясную демонстрацию конститутивной роли неравенства в сложных сетях можно найти у Альберта-Ласло Барабаши (Barabási 2003). Сложные сети — это сети, которые характеризуются свободным выбором, ростом и предпочтительной принадлежностью (*preferential attachment*). Свободные рынки и интернет — основные примеры. В сложных сетях имеет место специфическая структура, распределение элементов в сети по степенному закону. Наиболее популярный узел или элемент обычно имеет в два раза больше связей, чем второй по популярности, у которого, в свою очередь, больше связей, чем у третьего, и так далее, так что между массой наименее популярных различия невелики, но между верхом и низом дистанция огромна. Именно эта структура производит блокбастеры, бестселлеры и гигантские интернет-хабы. Эта идея встречается в популярных СМИ под названиями «правило 80/20», «победитель-получает-все» и «длинный хвост».<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Киан Кенион-Дин использует школьный ансамбль как убедительный контрпример. В отличие от джазового ансамбля, который объединяется музыкой, школьный ансамбль обычно разделяется как минимум на три подгруппы: «ботаники», которые хотят играть, сопротивляющиеся разрушители и безразличные (см. Kenyon-Dean 2015).

<sup>13</sup> Термин «длинный хвост» был предложен Крисом Андерсоном (Anderson 2004). Более пространное обсуждение законов власти и длинного хвоста см. в (Dean 2012).

В этих примерах тот единственный, кто занимает первое место, возникает при порождении общего поля. Это поле может создаваться разными способами: в комментариях к записи (пример — reddit, где читатели могут «поднимать» или «опускать» пост посредством голосования; примеры Холланда — Slashdot и Kurohin (Holland 2011: 88–90)), в веб-статьях (например, блоги Huffington Post и другие сайты, предлагающие много ссылок-приманок), в Twitter (через хэштеги), посредством соревнований (например, соревнования на лучшее приложение для городского туризма) — это лишь несколько примеров. Конкуренция создает общее поле, которое определяет победителя. Чем больше участие — чем больше поле, — тем больше неравенство, т. е. тем больше дистанция между одним и многими. Расширение поля производит *одно*.

Холланд, как и многие другие защитники самоорганизации, игнорирует структуру, которая производится свободным выбором, а именно структуру крайней избирательности связей. Обращаясь к примеру «Википедии», чтобы проиллюстрировать свой тезис, Холланд подчеркивает равенство всех, кто так или иначе ею пользуется или участвует в создании материалов и т. п. (Holland 2011: 88). Клэй Ширки, однако, замечает, что «спонтанное разделение труда, которое является движущей силой “Википедии”, было бы невозможно, если бы действительно существовала забота о снижении неравенства. Напротив, большинство крупных социальных экспериментов представляют собой машины по извлечению пользы из неравенства, а не по ограничению его» (Shirky 2008: 125). Так называемая мудрость толпы не производит стихийно свободный и справедливый порядок. И, вопреки Холланду, сетевые эксперименты в области децентрализованной самоорганизации ведут не к деиерархизирующим социальным изменениям, а, напротив, к более радикальной дифференциации между немногими и многими. Сетевая коммуникация не уничтожает иерархию, она ее укрепляет, используя наш собственный выбор против нас.

Мудрая толпа XXI в. кажется чем-то очень далеким от жестокой толпы XIX в., и тем не менее между ними есть решающее сходство: обе концепции пытаются предотвратить возникновение в толпе зазора, в котором может появиться народ. Изображения примитивных и атавистических толп XIX в. натурализуют их низость и угнетение. Социальный порядок и правление сброды — противоположности. Этим людям нет места в политике. Они не являются *народом* с его конфликтным требованием справедливости. Высказывание о мудрости толпы XXI в., как у Шуровьески и Холланда, также стирает разрыв толпы, однако в этом случае — абсорбируя его в идеализированных рыночных и сетевых процессах. Борющиеся, конфликтные, политические толпы превращаются в множества самоорганизующихся единиц, чьи частные интересы естественным образом согла-

суются. Понимание толпы XIX в. осознает антагонизм, но пытается препятствовать связыванию его с народом. Представление об умном сбросе XXI в. отрицает антагонизм как таковой, подменяя организованную политическую борьбу взаимодействием индивидов и малых групп. Шуровьески и Холланд стремятся гарантировать то, что эти взаимодействия не сольются во временное гетерогенное сущее, но останутся различными сингулярностями. Оба отрицают имитацию, базовую динамику толпы: Шуровьески — чтобы избежать пузырей и бунтов, Холланд — чтобы обеспечить различие. Они могут использовать термин «толпы», но их толпы не становятся коллективным бытием и не производят разрыв. В сложных сетях коммуникативного капитализма так называемая мудрость толпы не имеет ничего общего с вторжением многих в политику. Это порождение и циркуляция многих во имя производства одного.

## Сила количеств

В сегодняшних Соединенных Штатах политические толпы, толпы, не поддерживаемые ни капиталом, ни государством, редко выходят на улицы.<sup>14</sup> Рост представляется желанием, ограниченным капиталом. 2011-й был годом надежды и прорыва, так как протестующие из Мэдисона, Висконсина посредством множественных лагерей Оссигу пробивают дыру в стене ожиданий и дали нам шанс на мгновение увидеть радикальные коллективные возможности. По большей части, однако, политические толпы возникают в других местах: в Тунисе, Египте, Греции, даже в Канаде. 2 декабря 2013 года заголовки новостного портала “Democracy Now!” выразили этот статус-кво: они были посвящены тысячам протестующих на оккупированных территориях против экстрадиции Израилем арабов-бедуинов, тысячам, собравшимся в Гондурасе, чтобы требовать повторных выборов, десяткам тысяч протестующих против президента в Мексике, сотням тысяч в Украине, протестующим против отказа правительства развивать связи с ЕС, и... «Республиканскому твиту, осмеянному за расизм». Республиканский национальный комитет опубликовал в Twitter фотографию Розы Паркс с подписью: «Сегодня мы вспоминаем о твердой позиции Розы Паркс и ее роли в ликвидации расизма» (“Today we remember Rosa Park’s bold stand and her role in ending racism”) (“Headlines” 2013). Тысячи опубликовали эту запись на своих страницах в Twitter с хэштегом #RacismEndedWhen («расизм закончился — когда?»).

---

<sup>14</sup> О людях-за-дверями см. (Woods 1969).

В заголовках “Democracy Now!” домашний снарк социальных медиа, упакованный в сетевые коммуникации и передаваемый их посредством, оказывается явлением того же рода, что и массовые протесты в других странах, как будто он замещает отсутствующую толпу, многих, что проявляется в таких терминах, как *crowd-sourcing*. И вновь политическая энергия захватывается циркуляцией влечения коммуникативного капитализма. Но этот запакованный и ограниченный медийный импульс все же указывает на необходимость толпы для политики. Тысячи собранных под общим именем повторений — отмеченных хэштегом — сопротивляются усилиям Республиканской партии по ребрендингу, демонстрируя ее неспособность понять, что в США все еще есть расизм. На короткое время толпа в Twitter превращает нехватку в общий объект: она устраивает беспорядок в плане республиканцев по работе с социальными медиа, ее вторжение под общим именем отрицает минимальное различие, важное для персонализированных медиа когнитивного капитализма. Сила толпы происходит из временного бытия-многих-как-один, которое затем вновь поглощает медиapotок. Даже в этом — в виртуальной толпе коммуникативного капитализма — мы можем увидеть проблеск выражения желания толпы, желания, не сводимого ни к определенному предмету, ни к определенным подсчитанным (*counted up*) индивидам, так как сила их объединения считается ни за что (*counts up for nothing*). Социальные медиа таким образом также являются пространством дозволенного и одобряемого, прироста; все хотят больше френдов, репостов и фолловеров.

Не все толпы вводят зазор. Государство и капитал пытаются держать толпы под контролем, абсорбировать их в порядок вещей, в непрерывную циркуляцию зрелищ, которые мы коллективно производим, чтобы немногие продолжали свое частное накопление. Когда протесты, последовавшие за президентскими выборами 2009 г. в Иране, были названы «Революцией Twitter», а свержение президента Египта Хосни Мубарака в 2011-м — «Революцией Facebook», подрывные действия революционного народа были вписаны в америкоцентричное технофильское воображаемое. Революционная открытость была включена в коммуникативный капитализм, интерпретирована как еще одно свидетельство освободительного характера практик сетевых медиа, поддерживающих и расширяющих экономическое неравенство. В то же время, указывая на сами платформы, понятия «Революция Twitter» и «Революция Facebook» маркируют их как форумы толп. Twitter и Facebook — это не просто инструменты, они — манифестации аффективных интенсивностей, которые ассоциируются с толпами: эффектов каскада, энтузиазма, следования лидеру, заражения. За что и против чего была революция, что она установила, что она означала, что в действительности происходило — все это оказывается затоплено волной количества, которая занимает место



значимости. В более материалистическом смысле революции платформ предполагают возможность того, что толпа может провоцировать возникновение антикапиталистического, даже коммунистического коллективного политического субъекта, восстание многих против немногих. Бизнес-ориентированные авторы, разрабатывающие способы, с помощью которых компании могут капитализировать креативную мощь толпы, в то же время радикально снижая затраты, предупреждают, что, даже когда людям не платят, они «хотят чувствовать себя владельцами своего вклада» и «развивать чувство собственности на саму компанию» (Howe 2008: 181). В то время, когда капиталисты XXI в. восхваляют мудрость толп и превозносят краудсорсинг, говорить о «Революции Twitter» и «Революции Facebook» значит говорить о возможности того, что постящие и репостящие многие могут захватить средства коммуникации.

Капиталистический энтузиазм по поводу мудрости толпы как способа свалить работу на тех, кто готов делать ее бесплатно, переворачивает характеристику толпы, которая была ведущей в теории толпы XXI в. Ранние теоретики толпы описывали ее как примитивную, жестокую и поддающуюся влиянию. Дальнейшее развитие теории толпы связывают ее с вожаком, превращая присущую ей подверженность влиянию в очарованность вожаком, из которой вырастает тоталитаризм. Как ранние, так и более поздние версии ассоциируют толпы с деиндивидуализацией, иррациональностью и аффективной интенсивностью. Напротив, современные попытки использовать комбинации сетевых технологий, конкуренции и цен для экспроприации социальной субстанции делают толпы умными, знающими и креативными — источниками ценности. С одной стороны, эта инверсия становится возможной из-за смены места: сети вместо улиц. Толпа, которую пытаются эксплуатировать современные компании, остается разделенной на индивидуализированные тела, так как она производит себя в другом пространстве посредством объединенных в сеть персонализированных цифровых средств коммуникации. С другой стороны, но в соответствии с предыдущим утверждением, инверсия становится возможной из-за изменений в коммуникации. Дело не только в том, где толпа, но и в том, что толпа делает: она коммуницирует, выражает мнения, делится идеями, обсуждает, критикует. Другими словами, толпа делает все то, что раньше ассоциировалось с публикой, но, становясь агрегированной, сохраняемой, исчислимой и доступной для поисковых систем активностью сотен миллионов, ее деятельность утрачивает всякую способность — если у нее вообще была таковая — свидетельствовать о разрыве. Мудрость толпы состоит не в разуме или аргументах, это не вопрос содержания. Она происходит из циркуляции содержания, из повторения, накопления и корреляции.

## Коммуникативный капитализм и публичная сфера

Коммуникативный капитализм воплощает идеалы публичной сферы: участие, инклюзивность, равенство и рефлексивность. Люди поощряются к тому, чтобы делиться своими мнениями, выражать свою позицию, включаться в обсуждение. Не имеет значения, каковы эти мнения, до тех пор, пока они учитываются (прозрачность — другая версия этой же нормы). Сети должны расти, включать все больше и больше людей и идей, в пределе — всех; все должны быть онлайн, всё должно быть доступно. Все должны быть готовы и способны внести вклад в виде своей точки зрения, своего времени и внимания. Даже теоретики, которые, на первый взгляд, дистанцируются от демократических защитников публичности и контрпубличности, с энтузиазмом повторяют предписание любой ценой включать, требуют расширять наше видение публикации, включая в него животных и неживые объекты. Эти теоретики закладывают идеологические основы натурализации тэгов и сенсоров, которая призвана продолжить присущие коммуникативному капитализму процессы заключения всего в интернет вещей (*enclosure in the internet of things*). Более того, в сетевых взаимодействиях коммуникативного капитализма высказывания и формы участия эквивалентны: посты, лайки, комментарии и твиты принимаются за эквивалентные прибавления к циркулирующему потоку. Ложь ничуть не хуже правды; согласие и несогласие в равной мере учитываются как участие. Облака слов иллюстрируют эту фундаментальную эквивалентность, регистрируя количество употреблений слова независимо от контекста. Лицемерные высказывания ничем не отличаются от искренних — просто какие-то люди высказывают мнение об изменении климата. И так как коммуникативный капитализм воплощает также и идеал рефлексивности, все мои замечания, критические рассуждения сами по себе являются частью смеси, которую я критикую, — нет ничего удивительного или подрывного в критической рефлексии. Сегодня она может даже предшествовать тому, что является ее предметом: представьте себе тележурналистов, критикующих политическую речь до того, как она была произнесена, или активистов, критикующих марш, который еще не случился. За этим следуют дебаты и рефлексия о возможном влиянии дебатов на событие, которое еще не произошло. Рефлексивность, ключевой жест критического импульса, оказывается захвачена средой, которую она производит; каждая рефлексия участвует в публичной сфере как очередное прибавление, еще один вклад, который учитывается в качестве эквивалентного любому другому, — картинка с котом, обезглавливание, смертельный вирус.

Одним из первых теоретиков, осознавших значение сетевых медиа, или, на языке того времени, киберпространства, был Славой Жижек: уже в девяностые годы он отмечал, что в движении к виртуальной реальности была утрачена не реальность, но виртуальное.<sup>15</sup> Он имел в виду, что опосредованные компьютерами взаимодействия влияют на пространство смысла и значения, связанное с символическим порядком, нормами и понятиями, которые мы принимаем как данность, как фоновое знание. Жижек рассматривает ряд способов, которыми опосредованные компьютерами взаимодействия ставят под угрозу виртуальность. Один из них — это утрата связывающей силы или перформативной действенности слов. В онлайн-взаимодействиях связывающая сила или перформативная действенность слов постепенно сходит на нет; в любой момент гость киберпространства может просто сорваться с крючка (Žižek 1996: 196). Так как уход является возможностью, не связанной почти ни с какими затратами, субъект лишается тех стимулов, которые делают его слова чем-то, что связывает его самого. Вторая, более фундаментальная угроза касается растворения границы между фантазией и реальностью, растворения, воздействующего на идентичность и желание. В той мере, в какой цифровая среда дает возможность реализовывать фантазии на текстовом экране, она заполняет зазор между символической идентичностью субъекта и его фантазматической основой (Жижек 2017: 279). Мгновенное удовлетворение заполняет нехватку, конститутивную для желания. Гипертекстуальная игра позволяет замалчиваемому подтексту всякого текста быть выдвинутым на передний план, что уничтожает текстуальные эффекты невысказанного. Другими словами, полностью реализованные фантазии перестают быть фантазиями. Эхо этого заполнения — третья угроза, угроза значению. Зазор означивания, минимальное различие, которое делает тот или иной предмет или ответ значимым, создает ощущение его правильности, распадается. Но вместо устранения пространства сомнения заполнение вызывает потерю возможности уверенности. Жижек спрашивает: «Не является ли по этой причине одной из возможных реакций на избыточное заполнение пробелов в киберпространстве *информационная анорексия*, отчаянный отказ от принятия информации, поскольку она закрывает доступ к Реальному» (Жижек 2017: 265). Итогом информационного пира оказывается фундаментальный голод, связанный с утратой чувства, лежащего в основе Реального. Все три угрозы перформативности, желанию и значению указывают на то, что киберпространство лишает символическое прав. (Уничтожение пространства озна-

---

<sup>15</sup> Я основываюсь здесь на своем более подробном обсуждении этой темы в (Dean 2010b).

чающего, которое, соскальзывая в Реальное, утрачивает способность являться Реальным.)

Утрата символического — это утрата пространства означивания. Рассмотрим, например, различие между фотографиями знаменитостей на стене ресторана и изображениями знаменитостей на чьей-то стене в Facebook.<sup>16</sup> Стена ресторана обладает некоей долговечностью, фиксированное пространство предполагает пространство принадлежности. Быть включенным — это своего рода достижение, быть исключенным значит не принадлежать. Посетители обычно видят одни и те же фотографии из года в год; поскольку фотографии остаются теми же, они маркируют существование ресторана во времени, являясь свидетельством продолжительности его уникальной привлекательности. Как и стены, отношение между владельцем и клиентом некоторым образом фиксировано: те, кто ест, не готовит, они не убираются, не несут ответственность за ущерб. Пространство ресторана — это частное пространство, к которому они имеют доступ в качестве платежеспособных клиентов. Стены в Facebook представляют собой нечто иное и не только потому, что это экраны. Скорее, дело в том, что они текучи, изменчивы и вездесущи. Немногие френды внимательно изучают стены друг друга. И хотя мы и можем обнаруживать паттерны в постингах наших френдов, мы понимаем, что эти паттерны — это не-все, это не-тотализируемые, изменчивые мгновенные реакции и настроения. С учетом того, что любой из нас может быть в Facebook, стены на Facebook не могут маркировать включение и исключение. Они подрывают различия между публичным и частным. Мои френды на моей стене, и я на их стенах. Наши стены не ощущаются как стены. В лучшем случае это кратковременные хранилища миллиардов микроактов публичности. Всякий может добавить практически что угодно, осознавая тем не менее, что факт этого добавления значит очень мало. Даже не все френды увидят это; алгоритмы Facebook выбирают за нас, кто и что видит. В этом нет ничего личного, это — бизнес.

Больше информации, больше участия, больше рефлексии, больше включения: реализация идеалов публичной сферы в коммуникативном капитализме производит их противоположность. Вместо того чтобы находить информацию, люди испытывают больше сомнений и неуверенности — как нам узнать, чему верить? Всегда есть что-то, что мы упустили или оставили в стороне, фактически мы упустили больше, чем способны узнать. Интенсификация требования включения растворяет само пространство включения, так что люди чувствуют еще большую исключенность. Нет большого Другого,

---

<sup>16</sup> Я веду здесь диалог с прочтением публичного образа на примере «Стены славы» в «Делай как надо» Спайка Ли, предложенным Уильямом Митчеллом (см. Mitchell 1994).

чье признание нашей включенности имело бы значение; где-то еще происходит что-то другое, куда мы не включены. Концепция публичной сферы обладала определенной привлекательностью для теоретиков гуманитарных наук в 1990-е гг. Журналы “Social Text” и “Critical Inquiry” в 1990 г. опубликовали больше статей с понятием «публика» в заглавии, чем в любом предшествовавшем или последующем году; в случае журнала “Public Culture” годами бума «публики» были 1993 и 1994 гг. Появление в 1989 г. английского перевода «Структурной трансформации публичной сферы» Юргена Хабермаса (Habermas 1989) несомненно явилось здесь одним из факторов, так как эта книга стала предметом конференций и обсуждений. Более широким объяснением кажущейся очевидной важности комплекса идей, связанных с понятиями «публика», «публичная сфера», «публичность» и «контрпубличность», для многих в 1990-е мог быть подъем гражданского общества, конец холодной войны и стремительное развитие и демассификация медиа, вызванные приходом персональных компьютеров, видеозаписывающих устройств, пейджеров, факса, кабельного телевидения и интернета. Говоря конкретнее, с так называемым концом идеологии и поражением коммунизма битва XX в. как будто завершилась победой рынков и парламентской демократии. С этих пор главной задачей политики стало защищать свободу рынков и жизнеспособность демократии, обеспечивать их максимальную инклюзивность, прозрачность и партиципаторность, а также пытаться поддерживать их отделенность друг от друга и баланс между ними. Избыток демократии не позволил бы рынку выполнять свои функции производства и распределения, тогда как избыток рынка мог бы привести к монополиям, пузырям, крахам и рецессиям. Многие левые согласились с тем, что альтернативы капитализму нет, и занялись политикой конкретных проблем и политикой идентичности. Угнетение стало пониматься не в терминах эксплуатации, но в терминах исключения — исключения из равного участия в публичной сфере или сферах гражданского общества. В то время как базовая политическая рамка оставалась нетронутой, цели политики оказались связаны с комплексом норм и идеалов, сосредоточенных вокруг публичности: включение, видимость, голос, информированность, участие, потребности быть учтенным, увиденным, услышанным.

Касательно рефлексивности последних трех пунктов — быть учтенным, быть увиденным, быть услышанным — стоит заметить, что они отмечают поворот внутрь, к самости (индивида или группы, которые пытаются презентировать себя). Если прежде главным было то, *что* кто-то делает, сами продукты, то теперь главное — самопрезентация, которая в условиях коммуникативного капитализма хрупка и затруднена. Знаки, которые мы рассматриваем как знаки одобрения, — количество ретвитов, лайков. Не важно, соглашаемся

мы или нет; важно само то, что мы были увидены или услышаны. Факт явленности приносит крупницы наслаждения, говоря на языке Жака Лакана. Цель не имеет значения в той мере, в какой к цели добавляется своего рода политическое удовлетворение, в какой сам путь или процесс становится аппаратом наслаждения. Мы имеем здесь дело с динамикой скорее влечения, чем наслаждения. Современная демократия, структурированная нормами публичной сферы, запускает программу демократического влечения, в рамках которой участие, внимание и циркуляция доставляют наслаждение, вовлекающее людей в систему, и в которой решением проблем демократии кажется скорее расширение демократии, чем изменение системы.

Анализ инсценирования несогласия в его отличии от фигурирования политического как такового (политического столкновения между политикой и полицией), осуществленный Жаком Рансьером, иллюстрирует эту сублимацию политики в демократическом влечении. В качестве влечения демократия организует наслаждение через посредство множества инсценировок, где тот или иной субъект делает себя видимым в своей нехватке. Современные протесты в Соединенных Штатах, будь то в форме маршей, пикетов, страниц в Facebook или интернет-петиций, стремятся к тому, чтобы быть увиденными, информировать. Они не стремятся к захвату власти. Наша политика — это политика бесконечных попыток быть увиденными. Слово вместо того, чтобы смотреть на наших противников и изобретать способы победить их, мы чуть ли не кончаем, воображая, как они смотрят на нас.

В то время, когда одни теоретики работают с идеями публичности и публичной сферы, другие говорят о деполитизации, дедемократизации и постполитике. Публичная сфера и постполитика — две стороны одной медали, два подхода к одному и тому же полю, где бессубъектная циркуляция коммуникации заняла место коллективного политического субъекта. Шанталь Муфф дает сильную версию этого тезиса в своей критике хабермасианской делиберативной демократии. Хабермас, как утверждает Муфф, отрицает «внутренне конфликтную природу современного плюрализма». Наряду с роуззианским либерализмом, делиберативная демократия не признает тот способ, которым «завершение рассмотрения (*deliberation*) всегда является результатом *решения*, исключаящим другие возможности» (Mouffe 2000: 105; см. также Mouffe 2005). Нормы и идеалы, сосредоточенные вокруг публичности и публичной сферы, не могут отразить тот факт, что политика с необходимостью предполагает разделение. Решение выбрать один курс, а не другой, исключает какие-то возможности и позиции. Частью вызова политики является способность брать на себя ответственность за это исключение, признавая его условием политики, а не преградой на ее пути. Как только левые

превратились в либералов и начали презентировать себя в терминах призыва к демократии, ограничив политику гражданским обществом и идеалами включения в публичную сферу и гражданственности, они стали не способны назвать своего врага. Или их врагом стали враги либерально-демократического государства: терроризм, фундаментализм и любая защита организованной политической власти. Тем самым жестом либеральных левых в конечном счете явилось не стремление построить аппарат власти, а погружение в фантазию об отношениях, в которых нет никакой власти. Реальным эффектом этой фантазии стало усиление капитала как класса.

Сила позиции Муфф проистекает из ее осторожной работы с критикой либерального парламентаризма, предложенной Карлом Шмиттом. Шмитт утверждает, что либерализм пытается избежать основополагающей политической противоположности между другом и врагом, подменяя политику этикой и экономикой. Эта подмена фактически представляет собой перемещение интенсивности, характеризующей политическое, в другую область. Словами самого Шмитта: «Политическое может черпать свою силу в различных сферах человеческой жизни, извлекая ее из религиозных, экономических, моральных и иных противоположностей; оно означает не какую-то собственную предметную область, но только степень *интенсивности ассоциации или диссоциации* людей, мотивы которых могут быть религиозными, национальными (в этническом или в культурном смысле), хозяйственными или же иного рода, и в разные периоды они вызывают разные соединения и разделения» (Шмитт 2016: 313). Политическое маркирует интенсивность отношения, интенсивность, которая характеризует конститутивный для общества антагонизм (тот, вокруг которого общество образуется).

Когда собираются толпы, не поддерживаемые ни капиталом, ни государством, они транслируют эту интенсивность. Они являются аппаратами, подрывающими господствующее воображаемое либеральной демократии, которое было формой постполитики. Толпы настаивают на разделении и выражают его (в этой связи Канетти обращает внимание на двойные толпы, которые растут за счет своей противоположности). Я говорила о том, что реализация демократических норм публичности, включения, взаимности и равенства (равенства в форме коммуникативной эквивалентности участия) в коммуникативном капитализме привела к снижению действительности критики и усилению капитализма. Коммуникация становится игрой количеств: сколько кликов, репостов и ретвитов? сколько фолловеров? В игре количеств у капитала есть преимущество. Можно заплатить за лучшее место в результатах поиска Google, можно продвигать посты на Facebook. Может, деньги не могут купить любовь, но они могут купить лайки. Эти примеры, однако, тривиальны, если

речь заходит о реальном влиянии капитала на коммуникации: владение платформами, компаниями, которые обеспечивают сетевой доступ, данными и метаданными, которые производятся использованием средств коммуникации, фабриками, которые производят все те устройства, которые становятся нам дороже частей тела.

## Заключение

Я подчеркнула здесь событие толпы как политического окна возможностей. Энергия толпы представляет собой ход навстречу политической субъективности, но это не то же самое, что политическая субъективность как таковая. Толпа — это либидинальная, коллективная интенсивность: временное разнородное бытие, конституируемое эгалитарной разрядкой. Даже современные толпы, выражающие моментальную силу собирающихся количеств, генерируемую в рамках коммуникативного капитализма, осуществляют давление, подрывая присущую коммуникативному капитализму идеологию публичности. Толпа — это не публика индивидов, обменивающихся мнениями. Она есть давление коллективности: нас много и мы сильные. Толпы настаивают не на том, чтобы быть включенными, а на прорыве и разрыве. Люди действуют вместе способами, которые невозможны для индивидов, — этот феномен занимал теоретиков толпы начала XX в. Когда толпа вводит зазор в господствующий порядок, она префигурирует коллективную, эгалитарную возможность, но префигурирует в совершенно буквальном смысле — до всякой фигурации. Толпа сама по себе, безымянная, не представляет альтернативы; она делает надрез, производит открытие окна возможностей, пробиваясь через пределы, ограничивающие допустимый опыт. Она пересобирает данное и угрожает тому, что еще не дано. Люди присутствуют, но через посредство активного желания толпы, не так, как прежде, собранные в состояние такого равенства, что «то, что головы и руки могут быть разными, никого не интересует» (Канетти 2012: 42). Собираясь вместе, люди (*people*), которые прежде существовали по отдельности, вводят возможность народа (*people*) как коллективного субъекта политики.

Толпа необходима, но недостаточна, она незавершенная часть политики, которая еще не есть политика части, половины разделенного субъекта. Чтобы толпа стала народом, необходима репрезентация. Некоторые левые — автономисты, анархисты стилей жизни, либертарные коммунисты — так вдохновляются энергией, высвобождаемой толпой, что принимают окно возможностей за цель и завершение. Они воображают, что цель политики — расцвет множеств, потенциальностей, различий. Высвобождение игрового, карнавального и стихийного принимается за свидетельство политического



успеха, словно длительность — это лишь умножение моментов, и между одним и другим нет качественного скачка. С точки зрения фантазеров, считающих политику просто прекрасным моментом, всякую интерпретацию события толпы необходимо оспаривать как неизбежно неполную, частичную. Они забывают или не признают, что то, что «народ — это не-все», есть нередуцируемое условие борьбы. И поэтому они рассматривают организацию, администрацию и установление норм как провалы революции, как возвращение неприемлемого господства и иерархии, а не как эффекты и устройства власти и не как атрибуты успеха политической интервенции.

Политика прекрасного момента — это не политика вообще. Политика комбинировать открытие возможности с направлением, с внедрением разрыва толпы в последовательность или процесс, который осуществляет давление в том или ином направлении. Нет политики, пока не объявлено значение и не началась борьба за значение. У большинства из нас есть повседневный опыт, подтверждающий это: мы сталкиваемся с большим скоплением людей в неожиданном месте и хотим понять, что происходит. Что они делают, куда все смотрят, почему кругом полиция? Что это — протест, преступление, несчастный случай или съемки фильма? Упорствование в нежелании покидать инфантильную фантазию прекрасного момента неопределенности — это попытка предотвратить политику и присущее ей с необходимостью разделение. Говоря в терминах толпы: толпа может открыть возможность для возникновения политического субъекта, но она не детерминирует это возникновение. Толпа не объясняет свои действия. Она отказывается рассказывать кому-то другому, что она значит. Толпа не обосновывает себя, потому что ее голос множествен, это голос Вавилона: толпа не есть сущее, знающее, что оно говорит. (Есть ли вообще такое сущее?) Хаотический момент толпы неопределен, его предстоит соотнести с властью, истиной, справедливостью или господствующим порядком сил. Разрушение само по себе не нуждается в политической субъективности и не порождает ее. Какофония впечатлений и перемещений неизвестных среди неизвестных выпускает наружу направляемое только в строго определенные русла чувство множества, высвечивая возможности, которые, как впоследствии будет ретроспективно казаться, были всегда. Политический вызов заключается в том, чтобы хранить верность этому чувству многих — разрядке толпы, — не фетишизируя какофонический разрыв.

*Перевод с англ. Георгия Копылова*

## Библиография

- Беньямин, Вальтер (2015). *Бодлер*. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Жижек, Славой (2014). *Щекотливый субъект*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
- Жижек, Славой (2017). *Чума фантазий*. Харьков: Гуманитарный центр.
- Канетти, Элиас (2012). *Масса и власть*. М.: Астрель.
- Лебон, Густав (2016). *Психология народов и масс*. М.: Академический проект.
- Маркс, Карл (1961). «Критика Готской программы». В кн.: Маркс, Карл и Фридрих Энгельс, *Сочинения*, в 50 тт., т. 19. М.: Государственное издательство политической литературы.
- Маркс, Карл и Фридрих Энгельс (1964). *Сочинения*, в 50 тт., т. 33. М.: Государственное издательство политической литературы.
- Ортега-и-Гассет, Хосе (2016). *Восстание масс*. М.: Издательство АСТ.
- Рейнголд, Говард (2006). *Умная толпа. Новая социальная революция*. М.: ФАИР-ПРЕСС.
- Тэн, Ипполит (1907). *Происхождение современной Франции*, в 5 тт., т. 2. СПб.: типография П. Ф. Пантелеева.
- Фрейд, Зигмунд (2008). «Психология масс и анализ Я». В кн.: Фрейд, Зигмунд, *Вопросы общества. Происхождение религии*. М.: ООО «Фирма СТД».
- Шмитт, Карл (2016). «Понятие политического». В кн.: Шмитт, Карл, *Понятие политического*. СПб.: Наука.
- Шуровески, Джеймс (2007). *Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство*. М.: ООО «И. Д. Вильямс».
- Anderson, Chris (2004). "The Long Tail". *Wired*. <https://www.wired.com/2004/10/tail/>
- Barabási, Albert-László (2003). *Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life*. New York: Plume.
- Brennan, Teresa (2004). *The Transmission of Affect*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Borch, Christian (2012). *The Politics of Crowds: An Alternative History of Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buford, Bill (1993). *Among the Thugs*. New York: Vintage Departures.
- Dean, Jodi (2002). *Publicity's Secret*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Dean, Jodi (2009). *Democracy and Other Neoliberal Fantasies*. Durham, NC: Duke University Press.
- Dean, Jodi (2010a). *Blog Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Dean, Jodi (2010b). "The Real Internet". *International Journal of Žižek Studies* 4.1: 1–22.
- Dean, Jodi (2012). *The Communist Horizon*. London: Verso.
- Dean, Jodi (2016). "Enclosing the Subject". *Political Theory* 44.3: 363–393.
- Falasca-Zamponi, Simonetta (1997). *Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini's Italy*. Berkeley: University of California Press.
- Frank, Jason (2010). *Constituent Moments*. Durham, NC: Duke University Press.
- "Headlines" (2013). *Democracy Now!* 2 December. <https://www.democracynow.org/2013/12/2/headlines#1223>

- Habermas, Jürgen (1989). *Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hobsbawm, E. J. (1959). *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the Nineteenth and Twentieth Centuries*. Manchester: University of Manchester Press.
- Holland, Eugene W. (2011). *Nomad Citizenship: Free-Market Communism and the Slow-Motion General Strike*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Howe, Jeff (2008). *Crowdsourcing: Why the Power of the Crow Is Driving the Future of Business*. (New York: Crown Business.
- Jonsson, Stefan (2013). *Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism*. New York: Columbia University Press.
- Kenyon-Dean, Kian (2015). "Social Force." *Graphite*, 26 May 2015. <http://graphitepublications.com/social-force/>
- Mazzarella, William (2010). "The Myth of the Multitude, or, Who's Afraid of the Crowd?" *Critical Inquiry* 36: 697–725.
- Mitchell, W. J. T. (1994). "The Violence of Public Art: *Do the Right Thing*". In *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*, 371–396. Chicago: University of Chicago Press.
- Mouffe, Chantal (2000). *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Mouffe, Chantal (2005). *On the Political*. London: Routledge.
- Rudé, George (1995). *Ideology and Popular Protest*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Shirky, Clay (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations*. New York: Penguin Press.
- Woods, Gordon S. (1969). *The Creation of the American Republic, 1776–1787*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Žižek, Slavoj (1996). *The Indivisible Remainder: On Schelling and Related Matters*. London: Verso.